Николай
ЗИНОВЬЕВ
Бродячее дерево





Николай
ЗИНОВЬЕВ

Бродячее дерево

стихи



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

Р2
363

В четвертую книгу Николая Зиновьева «Бродячее дерево» вошли новые стихи, написанные за последние годы. Поэту присуще напряженное чувство современности, емкость и яркая метафоричность. Лирическим драматизмом пронизаны поэмы «Падаю и поднимаюсь» и «Ирландские страницы».

Художник ВАЛЕРИЙ ЛОКШИН

З $\frac{4702010200-409}{083(02)-84}$ 187—84



Затопленная лодка

Живем, надежду затая,
у неизвестности во власти.
Звезда у каждого своя,
залог нечаянного счастья.

А у вдовы своя звезда:
замерзла
на краю Вселенной —
звенит от ветра сквозь года
звезда на кладбище военном...

ЗАТОПЛЕННАЯ ЛОДКА

Заката час короткий.
Где речки поворот,
где лещ не вздрогнет кроткий
и дуб не шелохнет —

затопленная лодка
вдоль берега плывет...

Ни признака живого,
ни звука, ни огня.
Течением былого
уходит от меня.

Затопленная лодка,
тень времени, весна.
Еще не затонула,
но словно слез полна.

В окладе деревянном
живой воды овал.
Там, в холоде стеклянном,
чей лик, я не узнал.

Плывет моя загадка
без весел, без мечты.
И я шепчу украдкой:
мне страшно. Кто же ты?

Вновь всплыли очертанья...
Вновь черный борт пропал...
Но где же грань слиянья?
Кто видел, тот смолчал.

...Где щель у мирозданья?
Тот знает, кто терял.

ПУЛЯ

Пуля под землей лежала.
Пуля по сердцам скучала.
Маленькая пуля.
Тридцать лет в земле ржавела.
В небе только миг пропела...
Маленькая пуля.

Хитрое дитя металла,
в холоде она молчала,
маленькая пуля.
Солнце над землей всходило,
солнце о войне забыло.
Пожалело пулю.

Поселилась в ней травинка,
там, где запеклась кровинка.
Все забыли пулю.
В чистом поле тихо-тихо.
В чистом поле тихо-тихо.

...Выньте из Солдата пулю!

ДОРОГИ КОЛОКОЛЬНЫЕ

...Сквозь облака и дым горелый
в час окровавленной росы,
как женщины в рубахах белых,
шли колокольни по Руси.

И по нетоптаным, дебрянским,
былинным просекам и рвам
шла вслед сусанинская правда,
не уступившая врагам!

Четыре бабы вразноплачь
у старой церкви хоронили
крылатый пепел без фамилий...
И воздух скорби был незряч.

В разбитом храме хор гнездился —
прижались к сводам соловьи.
А колокол
в закате бился,
как сердце Родины в крови!..
А колокол
в закате бился!
И эхо к западу неслось...

...Теперь в России обелисков
немного меньше, чем берез.

* * *

В траву ночную упаду
вдали от голосов и лая
и слушаю,
как степь сырая
глотает белую звезду.
А та шипит, не поддается,
и на Вселенную кричит,
и в травах непокосных бьется...
Все спит.

...Родится первая строка.
Я проведу ее пока
от огонька до огонька...
И будет рифма так легка.

А солнце — розовое веко
уже под аэрокрылом.
Глотает небо человека
с его серебряным конем.
На речку девушки идут.
И в чем-то хочется признаться...
А мне исполнилось пятнадцать.
И ямбы на душе скребут...

ПАРОМЩИК

Когда в тени, у ранней рощи,
лучом расколота река,
Иван Матвеевич, паромщик,
соединяет берега.

Разбилось что-то в мире снова.
И, неспокойный за восход,
осколки зеркала речного
он в горсть задумчиво берет.

Иван Матвеич шепчет: «Ладно,
отправлю первыми школят...
Их на закате так приятно
брать поумневшими назад...»

Но ночью снятся ему часто
то сирота, то инвалид.
Из дальних сел к нему стучатся,—
мол, он поймет, соединит.

Опять приходит бабка Оля,
уж ты, вдову, ее прости,
зовет убитого...

И молит
на берег тот перевезти.

А что ты можешь переправой?
Какой тебе мешает груз?
Не можешь ты сказать ей правды.
Что нет его. Что берег пуст.

Скрипит паром, как утешенье,
покуда дух не выйдет вон,
наивный дух соединенья,
что в каждом русском испокон.

Но он порой боится мудро,
меж берегов тревожа нить,
вдруг умереть
посреди утра...

И их собой разъединить.

БУЛЬ-БУЛЬ

Спит Брянск. Такая тишина,
как будто жизнь запрещена,
и только лает на июль
собака грустная Буль-Буль.

Не спит лохматая душа,
свою неволю сторожа.

Бывало, сахар поднесу.
Но он для земляники создан.
В дремучей морде, как в лесу,
зрачки далекие, как звезды...

Буль-Буль — смешное имя детства.
Буль-Буль на зеркале реки,
где мы спасли тебя и, пестуя,
так не нарочно нарекли.

Давно уж нет тебя, дворняжка.
В беседке женщина стоит:
— Ты с кем там шепчешься? — кричит.
Но здесь во тьме лишь тень-двойняшка.
Я просто спутал времена,
спит Брянск. Такая тишина,
как будто жизнь запрещена,
и только в прошлом жизнь слышна...
Глаголы все стихов моих
в прошедшем времени по горло,
и нет собаки, чтоб двоих
она утешила покорно.
На миг с любимой разлучен,
но не пойму во мраке, где я,
лишь с каждым шагом молодею...
Минувшим светом облучен.
Наверно, вечер. И закат.
И там, где на калитке в сад
рукою чьей-то невпопад
написано: «СОБАКА ЗЛАЯ»,—
на красный день, который тает,
на всё, что годы отнимает,
на всё, что рушится, пылает,
собака лает, лает, лает...

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ

Любви осенний запах острый,
дух солнца с тленом пополам.
Берез двоюродные сестры —
осины клонятся к ногам.

Другая ты, глаза и руки.
Какой-то холод в них сквозит.
Лишь отчужденье — дочь разлуки
незримой девочкой стоит.

Молчу. Шуршанью не мешая,
как будто от потерь больной.
Я так боюсь сказать: «чужая» —
и не хочу сказать: «чужой».

ПОЕЗД «КРАСНАЯ СТРЕЛА»

Софии Ротару

«Красная стрела»
ночью отойдет.
Я тебя люблю, а ты?
«Красная стрела»
вихрем оторвет
от меня сейчас мечты...

Так заведено:
рейс не отменить,
время подошло — и всё...
«Красная стрела»
в памяти моей
пламенем прошла, и всё...

«Красная стрела»
сердце обожгла,
отмелькала, как волна...
И ко мне теперь
только тишина,
только тишина нежна.

Вот уже вдали
след твой вполземли.
Города, поля, мосты.
Между нами ночь
пропастью растет...
Я тебя люблю, а ты?

ЗАПИСКА ОТ БАБУШКИ

Осталось от бабушки многое.
Боль в сердце. Письма. Цветы.
И страсть моя к четвероногому —
лишь эхо ее доброты.

Как мало осталось от бабушки!
Три фото. Порубленный сад.
И дедушка вот уже рядышком.
Над общей плитой снегопад...

От памяти всякий зависит.
Утешиться трудно мечтой.
Записка одна среди писем —
как бабушки голос живой:
«Цветы поливать не забудь».
Куда-то она уезжала.
Как будто сейчас написала.

И всё. Разве этого мало?
«Цветы поливать не забудь».

На кладбище рой васильков
плиту окружил и скамейку.
Дрожит синева лепестков.
И падают
слезы
из лейки...

СЕРЕБРЯНОЕ РЕТРО

В. Солоухину

Серебристые тени
под глазами усталыми...
Только вот, к сожалению,
благородней не стала ты.

Ночи лунные сводят
всех с ума, даже ветреные.
Серебро стало в моде.
Ныне — ретро серебряное.

Окунайте серебряные
в воду
вилки, ножи...
Пейте воду целебную!
Не пеняйте на жизнь.

Пьешь и думаешь: господи!
Нету влаги бодрей.
Пьешь и думаешь: Русь, поди,
была раньше мудрей.

Пьешь серебряно-радостную —
аж мороз по усам! —
молодую, безградусную
пьешь — и светишься сам!

Пусть на сказку напорешься
и помчишься к звезде...
Пьешь —
как будто бы молишься
не иконе, воде.

С гуслярами, царевнами —
взахлеб, наповал! —
к древнерусской, серебряной
старине ты припал.

«О святая, пресветлая,
как слеза, Царь-вода,
в тебе искра заветная —
что в колодце звезда...»

Улыбнулся из древности,
кубок поднял —
и в грязь! —
сам Василий Серебряный,
воевода и князь!

Чудотворная влага.
Черно-белый рассвет.
Ночь, как фотобумагу,
засветил белый свет...

Серьги, сабли и сани.
Звонкий иней монет.
За семью небесами
перезвон, пересвет...

Несмеяна красивая
просит чашу налить —
чтоб серебряной силою
тоску утолить,
с поцелуем непрошеным
поднялась на носки...

...Захмелел я от прошлого.
Серебрятся виски.

Пью. Никак не насытиться.
Память пьяная в дым.
Из мешка —
с неба сыпется
серебро старых зим...

В век полетов селеновых
нам нужны шалаши.
Пейте воду серебряную
из ручья! Для души!

ДИКАЯ РОЗА

Там шею мою шиповник
колючей красой обовьет.
Там в полночь у старой часовни
меня красно деревце ждет.

Шиповник шумит и шаманит,
он шутит кроваво и зло.
Зато в моих пыльных карманах
от лампочек этих светло!

О боже, как хочется с детства
сквозь райские эти кусты
добраться
до красного
сердца,
до сердца самой чистоты.

Я эту дорогу запомнил —
по берегу в юность тропа...
Любить — это рвать шиповник,
когда за душой ни шипа!

...На розу похож я едва ли,
но все-таки в чем-то родня —
был нежным —
меня обрывали,
стал злым я —
обходят меня.

Вчера я молча признался,
что верен диким цветам.
Один лепесток остался...

Его никому не отдам.

ГРАНИЦА

...Березки прусские, прусские,
а мысли русские, русские...

Такие разные, разные,
как листья черные, красные.

В окне вагонном — мелькание.
Сырое утро — Германия.

Лесов чужое дыхание
как памяти колыхание...

Откуда память? — вы спросите.
Из дыма память. Из осени.
Из красной крови кленовой.
Из черной грусти дубовой.

В окне вагонном — Германия.
Прости за черствость свидания.

...Березки прусские, прусские,
а мысли русские, русские...

КАДР КИНОХРОНИКИ

Земля сорок пятого года.
Разбитых дорог паралич.
Сиротский осадок от горя —
сплошь пепел и битый кирпич.

Весеннего утра испарина...
И двое под птичий щебет
работают на развалинах,
таскают песок и щебень.

Солдатам копать не в новинку,
но как-то не очень с руки.
Там мерзлые
комья
суглинка —
как сжатые кулаки...

Лопата с землей не спорит,
черпнет —
и осыпется вновь
в песочных часах истории
земли сорок пятого кровь...

На миг прикурить присели.
И снова в пилотках двое
несут
на носилках землю,
как раненого с поля боя...

КЛАДБИЩЕ В ЕЛАБУГЕ

В 1972 году в Елабуге было повреждено ураганом старое кладбище, где похоронена Марина Цветаева.

1

На пароме в Елабугу еду.
Три машины. Телега одна.
Еду молча по странному делу,
а поспеть надо мне дотемна.

Я на землю смотрю и не верю —
отшатнулся паром от нее...
И подумал я: жизнь — это берег,
и паром этот — в небытие...

На пароме стою, на пороге
перед вечным судом, может быть.
Быть поэтом — как быть на пароме,
на пароме в Елабугу плыть.

Все реальное где-то далёко.
Так глубоко вздыхает волна...
Так мое ожиданье широко...
А Елабуга еле видна.

Там, на маленькой церкви старинной,
гаснут в сумерках купола.
Я ступаю на берег...
Зола...
И вдыхаю: Аве, Марина!

До кладби́ща хватаю попутку.
Через лес, через дол, через миг —
никого.
Лишь у домика-будки
запирает ворота старик.

— Аккуратно хороним. Порядно.
Только нет уже той красоты.
Ураган погулял изрядно!
Раскидал по земле кресты...

Птица вскрикнула!
И увидал
я нетронутую могилу.
Бог живую не отстоял,
заслонил после смерти Марину.

2

Спи, Марина. Я поэт прохожий.
Далеко не первый ученик.
А сегодня день такой погожий,
и букет из ягод невелик.

От ограды шел я до ограды,
обходя крестовый частокол,
всё искал тебя с глухой досадой —
я живую легче бы нашел.

Спи, Марина. Отдохни от ветра.
Только что там в шорохе ветвей?
Неужели
глубиной
в три метра
это стон бессонницы твоей?

ПОСЛАНИЕ ДРУГУ

Мороз Москва-реку рисует
у затонувшего весла,
волну последнюю целует
и дует в зеркало чела...

И льдинки,
словно дети твердости,
растут, таинственно седея...
И мы с тобой в плену у творчества
стоим, мучительно твердея.

Снег валит, валит, словно слава
всем комьям, сгусткам, слиткам, сплавам,
всем здравым зернам, ядрам здравым,
соборам всем золотоглавым!

Пусть кем-то мы пока любимые,
еще друзьями не распятые,
мы будем непоколебимые
перед грядущими утратами.

Ты слышишь, натянув поводья,
природа твердость набирает,
чтобы улыбкой половодья
весной раскинуться без края.

...Наутро вновь мы вышли к берегу.
Всё за ночь спутали снега.
Лишь детвора лыжнями первыми
соединяла берега.

Покоем пахло и простором.
И над деревней первый дым.
И мир смотрел здоровым взором
по-русски бело-голубым.

Как будто мир открыл глаза,
и в них, счастливых вместе с нами,
между ресницами-лесами —
стояло солнце,
как слеза.

Была такая твердость духа,
такая всюду доброта
в первопокое первопутка...

И не грозила суета.

УСТУПИ МЕСТО

На траве перед звездной бездной
убери каблук, отодвинь —
уступи незабудке место,
самой юной из всех богинь.

Как тебе уступали прежде
люди, травы, огни в воде,
уступи эту жизнь надежде,
что не зря ты жил на звезде.

Всем друзьям позвони, но чтобы
было весело проводам!
И к врагам загляни без злобы,
обещая не пропадать.

И в трамвае, в стоячке тесной,
сам себе, как тайный судья,
уступи пионеру место,
уходя...

Как космические ложементы
отлетевшей души людской,
оставляем мы незаметно
слепок раковины пустой...

«Здесь сидел пассажир неизвестный».
Вздрогнет тихо в тебе вопрос:
на одно человеко-место
сколько душ отлетевших пришлось?

В мире нежности, звезд и зверства,
в бесконечности тесноты
всё всему уступает место,—
смех — слезам, а рассвету — ты...

Пристегни ремни.
И, прощаясь,
голос матери запроси.
И, закрыв глаза, улыбаясь,
оторви
от Земли шасси...

Позабудешь, ты был или не был.
В полусне с тоской пополам
уступи эту Землю небу
и себя уступи стихам.



Портрет ветра

Отзвенело шестнадцатилетие
птичьей стаей на все лады.
Тополиный июньский ветер
заметает вальса следы...

Давней музыки той осколок
ноет в сердце, зовет назад.
И как слезы в глазах у школы,
выпускницы
в окнах
стоят...

ПОРТРЕТ ВЕТРА

«Напиши портрет ветра»,—
ночью, скрипнув, сказало окно.
Вздрогнул я от судьбы в полметра.
Кто там?
Впрочем, мне все равно.

...Сад дрожал одной половиною,
а другою еще дремал.
Опьяненный неуловимостью,
как слепой, я холод вдыхал.

Я не знаю, что было это.
Словно чья-то мольба и стон.
И, свистя, продувало эхом
до костей с четырех сторон.

«Напиши портрет ветра»,—
повторило, дрогнув, окно...
Не хватало красок рассвета.
Над землей еще было темно.

И не мог я сдвинуться с места.
Властный дух окутывал, звал.
Где-то в дымке мелькнуло детство —
как сгоревшей звезды провал...

И почудился голос ветра:
«Воздух жизни незримо летуч.
Перед самым порывом смерти
в чистом поле отыщешь ключ».

* * *

Там, где двери у рассвета
приоткрылись как всегда,
пропасть дымчатого цвета,
пропасть птичьего труда...

Все, что тьма,— грозит бедою.
Все, что свет,— сквозит судьбою.
Между ними ты и я
как скитальцы бытия.

Все на свете так непросто.
Я не сплю, вдыхая тишь.
Я не сплю из-за того, что
слишком ты счастливо спишь.

Поцелуй твой первый смутный.
В сердце — грустная заря...
От утраты — слово «утро».
Это, милая, не зря.

Ночь утратила значенье.
Над землей стоит свеченье.
День из жизни отлетел,
новый только заалел...

И поэтому не будем
это утро торопить
и грядущее забудем.
Станем прошлое любить.

«РУССКАЯ ЛИРА»

Памяти А. Твардовского

Содрогнулся корабль.
Ветром песню сломало.
Умер наш капитан. Его сердце устало.
Кто кричал, кто шептал —
все сравнялись в молчанье.
Лишь обрывками волн шелестит завещанье...
И доносится вдруг
то с печалью, то с гневом:
«Я не умер сейчас. Я убит подо Ржевом...»
Три минуты молчим у опавшего шелка.
Быть не может пустым этот мостик так долго!
И пусть сыпятся розы
под бас Левитана,
с «Русской лиры» матрос,
я зову капитана!..
Так вот Пушкин лежал, оставляя наш кубрик.
В белой пене подушек эфиопские кудри...
И Некрасов, и Блок, а потом Маяковский —
сделал каждый, что мог,
жить желая чертовски!
Кто заступит сейчас?..
В ясный день и ненастье
наша «Лира» плывет. И крепки ее снасти!
Пусть она говорит с кораблями земными
на дыханье одном парусами седыми,—
и на пушкинском строгом,
на веселом и грустном,
на некрасовском, блоковском,
на твардовском,
на русском!..

ГЛАГОЛЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Глаголы прошедшего времени
шумят, как вечерний лес.
Как души минувшего времени —
Жил... Выбыл... Ушел... Исчез...

Пронизывая стихотворения
с печальным треском огня,
глаголы прошедшего времени
выстреливают в меня.

Все ярче их свет печали,
больней леденящее «л» —
Умчал... Отлетел... Отчалил...
Отбыл... Отлюбил... Отпел...

«Мотаюсь, как все, летаю...»
Вдруг голос друга пропал.
Как выговорить, не знаю,
сказать про него «летал».

Все громче стучат мгновения,
все дальше тени друзей.
Глагол прошедшего времени,
не жги сердца людей.

Придет мой час отправления,
и холодом ножевым
глагол прошедшего времени
отрежет меня от живых.

И где-то в другом поколении
пробьется сквозь все слова
душа ушедшего времени,
как горькая сон-трава.

Ну я пока побуду еще.
Окно распахну в трезвон!
В живую зарю и гульбище
глаголов любых времен! —

В лицо Настоящее Будущее
ударит со всех сторон!..

ДНЕВНОЙ СВЕТ НОЧИ

Голубь залетел в метро,
сквозь
тоннель
влетел
и заблудился...
Милиционер, его не тронь.
Он от неба, видимо, отбился.

Был высок полет, теперь глубок.
Тыкался в плафоны что есть мочи.
Очень уж он верил, голубок,
этому дневному свету ночи.

В потолок лазурный он стучал.
Потеряла вдруг чутье природа.
Он, гордец, ошибку допускал:
он искал не выхода, а входа...

...Третью ночь мне шорох крыльев снится —
будто птица я в тоннеле том,
где в конце светло опять, как днем.
И мне тоже, как усталой птице,
страшно от родной земли отбиться,
заблудиться в космосе пустом...

МАЛЬЧИКИ НОВЫХ ИГР

Авиамоделисты.
Мальчики новых игр.
В воздухе треск игристый —
неуловимый миг.

В центре двора — как циркуль —
трассу чертит модель.
Как дрессировщик в цирке —
мальчик. И в небе — шмель.

Из догагаринской эры
смотрят поверх голов
грустные пенсионеры —
как из иных миров.

На ремешке потертом
держит щенка малыш.
Небо за нитку дергает
брат, повелитель крыш.

Авиамоделисты.
Крылья. Моторчик. Нить.
Эту стрекозью чистую
тягу не победить.

Ветер... А ты раскрытый,
мой авиаамур.
Твое продолженье крыльев —
над пилотажем фигур.

И пусть довоенной открыткой
канул бумажный змей,
дай подержать за нитку
небо наших детей.

МУЗЫКА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Э. Артемьеву

На дачах вырубите магнитофоны!
Пускай под шорохи мотыльков
раскроют уши во тьме бутоны...
Сегодня — музыка для цветов!

Ушли в себя они и свернулись.
Не расколдуешь набором слов.
Чтобы цветы сейчас очнулись —
нужна лишь музыка для цветов.

Они притягивают каждый вечер
к себе Вселенную просто так,
и видят сны они человечьи,
но не идут со мной на контакт.

Поэтому я шепчу: «Бетховен,
Шопен,— заклинаю,— Чайковский, Григ,
цветов интеллект высокодуховен —
исполните музыку для гвоздик!..

Найдите музыку для хризантемы,
для колокольчика и резеды.
Пусть дрогнет сердце у цикламена
и роза будет просить воды...

Подайте музыку бедной крошке —
простой куриной слепоте
и оборванцу на дорожке —
одуванчику в темноте».

...Во сне, как дети, они потянулись
и, источая утренний дух,

в дурманном братстве переглянулись
и что-то тихо сказали вслух.

Восток светлеет... Деревья, злаки —
всё обернулось на тайный зов.

Старик садовник молчит во мраке.
Он пишет музыку для цветов.

ПЛАТЬЕ

Нечего надеть, что ни говори —
не нравятся платья.
Буду одевать с ног до головы
тебя в объятья.

Выйдешь из воды в трепете травы...
Как давно это было!
С ног до головы, с ног до головы
ты меня всего забыла.

Всё обнажено... Речка и закат...
Трудно вспомнить те мгновенья.
Ты теперь одета с головы до пят —
в платье из забвенья.

СТИХИ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

В мою комнату море шумит,
пол дощатый качая и стены.
И лицо твое в брызгах звенит,
и выходит улыбка из пены...

Этой ночью в рыбачьей избе
не хочу повторять твое имя.
Прогони мои сны о тебе.
Одному мне не справиться с ними.

Кто их в душу мою пропустил?
Почему они как кредиторы?
Я же явью за все заплатил.
Почему они как кредиторы?

Ты сама наяву приходи.
В этом мире, пропахшем кефалью,
лучше правда, что все позади,
чем обман с обещающей далью.

Видеть сны — значит явь предавать.
Кто калиткою скрипнул опять?

Нет, никто там уже не стоит.
Я глаза в темноте открываю.
...Лунным пламенем ночь обдавая,
это в комнату море шумит.

ЗАПОВЕДЬ НА БЕРЕГУ

Касаюсь щекой простора.
Здесь берег
петляет
влево...

Учусь ремеслу у моря,
учусь ремеслу у неба.

Обтачивается вечность,
как камушек морской.
Просачивается Млечность
с космической тоской...

А мне всегда не хватало
больших потрясений духа,
где горе в двенадцать баллов
всерьез заставляет думать.

И мне не хватало в соснах
высокой,
радостной силы,
когда нас под стружки солнца
делает счастье красивыми!

Учись ремеслу у моря —
в разломе волны гремящей!
Учись ремеслу у горя.
Учись ремеслу у счастья!

ТЕНЬ КАРАДАГА

В тень,
как в колокол мрака,
я вхожу не дыша...
Да, это тень Карадага.
Эры иной душа.

Чую прохладу чрева.
Чудище, старая тень.
Сколько вам, ваша Древность?
Лета какого день?

Вот она, шаг за шагом
движется надо мной,
жадно глотает зной,
лодки,
людей,
прибой,—
черная тень Карадага,
времени срез ночной.
Странная тень Карадага,
сдавленный гул глубин.
Все позади —
отвага,
женщина, жизнь, бумага...
Буду один.
Но что такое? —
вроде
тень от меня уходит,
сходит,
волной дразня,
как раздевает меня.
Вот осветились ноги,
руки,
потом голова...
Вдохом зари на пороге
солнцем полны слова.
Ямба янтарная брага
вспыхнула на волне...

...Черная тень Карадага
прочь ползет в тишине.
Тянется тише змея
в древней своей тоске,
не научив бессмертью
тело мое на песке...

ГРИМ СО СЛЕЗАМИ

Садилось солнце за причалом,
как в янтаре застыв в судьбе.
И след улыбки излучала
усталость горькая в тебе.

Грим со слезами,
слезы с гримом
ты стерла скомканным лигнином.

...Пахнуло из античных драм —
тоской с духами пополам.

И сумка щелкнула твоя.
Была ты горько-тороплива.
«Виновен я, виновен я»,—
мой голос прошептал фальшиво.

Грим со слезами,
слезы с гримом
ты стерла скомканным лигнином...

Лицо былого как пятно,—
кроваво вымокло оно,
еще не высохло в руке —
в бумажном
сморщилось
комке...

ХЛЕБНЫЕ КРОШКИ

...Бросаю
монеты
в море,
а чайки думают — хлеб.
У самого серого мола
клюют золотистый след...

Один в вечернем тумане,
зачем тороплюсь я в путь,
невольно чаек обманывая,
себя хочу обмануть?

И вот у приморской блинной
в компании божьих птах
я хлеб соберу с повинной
на липких пустых столах.

Хочу, не прощаясь с морем,
крошить этот хлеб...
Крошить...
Хочу у серого мола
грядущее не ворошить.

* * *

Позади машины — листья лета.
И в окно из мокрой темноты
вырывает ветер сигарету —
поделиться с ним обязан ты.

Встречных фар непониманье слепит.
И водитель некурящий тих.

Только красный стоп-сигналов пепел.
Дождь. Мосты. И тени постовых.

Жжет тоска, к сиденью прижимает.
ГРАЖДАНЕ! — пылает в небесах.
НОЛЬ ОДИН ЗВОНИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ!
И внизу подписано: ГОССТРАХ.

Но одно лишь утешает душу,
словно голос неба самого,—
в этом мокром, сером равнодушье
уж не может вспыхнуть ничего.

Позади машины — холод ночи.
Вот и все. Надежды мокрый след.
Как ночное братство одиночеств —
встречных фар слепящий пересвет.

Вот и все. Грозят во мраке будто
каменными пальцами столбы...
Замер я, как в тесной катапульте
с потерпевшей бедствие судьбы...

ВЕТЕР КЛЕИТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Понимая людей стремления,
их любовь к перемене мест,
ветер клеит объявления —
НА РАЗЪЕЗД... НА РАЗЪЕЗД... НА РАЗЪЕЗД...

Это слово РАЗЪЕЗД — как ржавчина —
обручальный металл разъест.
В одиноких двое разжалованы
на холодных столбах окрест!

В серый снег ухожу бумажный,
где облезлых стен пресс-папье,
где в проулочке двухэтажном —
хор судеб, как в пустой трубе...

Одиноких любя знакомых,
на мечте я не ставлю крест,
и от имени разных комнат
я упрямо твержу: НА СЪЕЗД.

БАБОЧКИ НА СНЕГУ

Как это все случилось?
Я понять не могу.
Даже звезда прослезилась —
бабочки
на снегу...

С летом смешали зиму?
Скажете: это ложь.
Это непостижимо.
Несовместимо. Что ж...

Все объясните сами.
Я же постичь не могу.
Опавшими лепестками —
бабочки
на снегу...

Трепет крыла мгновенный...
Тихое сердце — об лед!
Нежность самой Вселенной —
бабочек недолет.

Дети божьи, бедняги!
Хочется мне закричать:
это лишь лист бумаги!..
И вам нельзя умирать.

СВЯТОГОРСКИЙ ВЕТЕР

1

Там у ветра голова курчава...
Я сверну с тропинки — никого.
Сто шагов еще. Потом направо.
Святогорской рани торжество.

Кто б сюда ни шел, ни ехал — поздно.
Опоздали все. Шумит трава...
Здесь вокруг рифмуется сам воздух,
а потом уж грешные слова.

2

Белый камень. И ветер с Сороти
не дает никому забыть —
время с Черною речкой в ссоре.
Никогда их не примирить.

Рядом с Пушкиным сердцу светло.
Краски дня за рекой погасли.
И у месяца, словно Пегаса,
опустело седло...

Здесь магнитное поле добра.
На губах горький крестик сирени.

И простреленный флаг вдохновенья
по лицу тебя хлещет с утра!

Здесь не ветер гудит, а совесть...
Лишь коснуться камня... И жить.
Рядом с Пушкиным речка Сороть.
Рядом с Пушкиным — значит любить.

Прощание с рифмой

* * *

Стукнул верлибр в дверь.
Верь либо не верь.

Открыл. Впустил. Слушаю.
Верлибр
с глазами цыгана.
Говорит, люблю Хикмета, Превера
и стихи компьютеров
пятого поколения.
Он свободно
сбросил пиджак.
Холост.
В рифмах разочаровался,
как в женщинах.

— Когда-нибудь,—
продолжает он,—
музу без рифм,
как Венеру без рук,
станут считать идеалом...

О милый рифмоненавистник!
Прости,
но я люблю женщин.

Он засмеялся
и исчез.

Канул верлибр в дверь...
Верь либо не верь.

Но вот что осталось от него
на столе...

* * *

Мы с руками крест-накрест рождаемся.
Умираем с руками крест-накрест.
А свобода от этой позы
называется коротко —
жизнь.

* * *

Это было в Гагре.
На маленькой площади зимой.
Они стояли друг перед другом.
Он смотрел в небо.
Она плакала, опустив глаза.
Ее длинные волосы закрывали лицо и плечи...
А он, высокий,
куда-то глядел вверх...

Гудели рядом машины,
играли мальчишки,
спешили на рынок торговки мандаринами,
и очень немногие оглядывались
на эту странную пару,
но тут же понимали,
что их помирить не сможет никто никогда...

Два сердца.
Две судьбы.
Два молчания.

Она опустила глаза.
Он смотрел в небо.

Обычная драма на маленькой южной площади.
Ее звали Ива, его — Кипарис.

* * *

Сначала я влюблялся каждый день.
Потом я влюблялся каждую неделю.
Теперь я влюбляюсь каждый год...

Неужели я полюблю на всю жизнь?

* * *

Ты — луч в зените моей судьбы,
упавший
утром
на кровать,
рассыпав золото волос...

Ты — луч в зените моей судьбы.
Ты — луч-ша-я
из лучей слабого пола.
Ты ласкаешь и обжигаешь,
ты лучишься и мучаешь.
И просвечиваешь все мои тридцать четыре
осени.

Ты — луч,
который на сто процентов из чистоты.
Ты — луч,
а я — человек,
который на сто процентов из любви.
Ты — луч,
а я человек.
Но почему же тогда я прямее тебя?
А ты вся из надломов?
И я говорю, щурясь от твоего палящего
взгляда:
я тебя люблю, луч...

Но снова тебя нет до завтра.
И снова ночь за окном так черна,
как будто это кладбище лучей.
А я буду ждать и думать...

Ты — луч в зените моей судьбы...

* * *

Мое окно выходит на север,
и каждое утро
отраженное солнце от окон напротив
режет глаза.

Я поливаю молча цветы,
но они вянут.
Я засеваю бумагу буквами,
но слово не всходит.

А может, беспочвенна эта тревога?
И стороны света
никак не влияют на отношенья
мои со стихами?

Но все же, все же я отражаю
свет отраженный!
О, я ненавижу тебя, вторичность
света и слова!

Я ничего не прошу от жизни —
только солнца.
И ничего не прошу от солнца —
только правды.

Блеск фальшивый дурачит пусть
все неживое.
А юным лицам на желтых фото
это не нужно.

Мое окно выходит на север.
И страшно подумать,
что сердце разучится понимать
тепло земное.

* * *

...Лишь в одном я завидую старости,
когда чувства слепнут и глохнут —
и уже не заметны мелочи,
и уже не слышны глупости.

* * *

Что может быть чище дерева?
Огонь.
Что может быть горячее огня?
Желание.
Что может быть воздушней света?
Тень улыбки.
Что может быть несбыточнее бессмертия?
Реальность счастья.
Что может быть тише воздушного шара?
Твоя нежность.
Что может быть громче взрыва?
Мое горе.

* * *

Ты живешь и не чувствуешь,
как время
сплетает что-то...

Но однажды в зеркале
ты увидишь,
что лицо твое
упало
в готовую
сеть
морщин...

* * *

У меня есть два врага —
стрелки часов,
которые полосуют
лицо времени,

спиливая ежесекундно
слой за слоем
дерево
жизни...

Летят в стороны незримые опилки
мгновений...

...И дерево исчезнет,
сровнявшись с землей.

Но как хорошо,
что у меня есть два друга —
твои глаза,
которые говорят мне:
«Опять ты спешишь...
Когда ты, наконец, кончишь
смотреть на часы?»

* * *

В ту весну уставшей планете
алый аист
принес младенца.
Искупали его в салюте,
спеленали прожекторами
и дали лучшее имя на земле —
Победа!

* * *

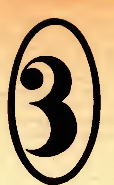
На подоконнике ветер
тетрадь со стихами листает.
Замрет.
И листает опять...

А вдруг — это старый учитель,
который умер недавно,
став ветром,
проверяет тетрадь?

И я наклоняюсь —
о ужас! —
там вместо стихов —
задачи,
но только не те, что в детстве,
и вижу я,
что неправильны
все ответы мои.

А ветер листает дальше...
Ошибки... Ошибки... Ошибки...

Прости, учитель, меня.



Соло для гитары

Стресс от горя, от счастья — шок.
Перепады нагрузок рьяных.
Хлещет жизнь — крутой кипяток...
Люди лопаются, как стаканы.

Вот поэт. Презирая стон,
молча встал (ни к чему санитары),
и на уровне сердца он
держит книгу свою,
как гитару...

НОЧНОЕ МЕТРО

О ночное метро
с четырьмя пассажирами!
Спит электрик Петров
под парами эфирными.
Черствых дум бутерброд
да заботы кефирные...
Спит родной мой народ,
человечество мирное.

Современник ночной,
побеседуем вволю.
Часто мы под землей —
привыкаем к ней, что ли?

Вдоль платформы пустой
поезд мчит с юго-запада —
как сплошной голубой
и грохочущий занавес...

Судеб поздний спектакль,
где Ромео с Джульеттою.
Это все за пятак.
Я проехать советую.

Вот в копилку судеб
пятачок вы забрасываете
и, как воздух, как хлеб,
свое детство запрашиваете.

Прокрутив просто так
десять станций мелькающих,
возвратить за пятак
дым былого растаявший.

Вот лицо старика,
отрешенное, бледное.
Он со мною пока
словно в вспышке замедленной...

Был сейчас... И уж нет.
Он сошел на «Коломенской».
За стеклом его след —
как во мраке колодезном...

Мчит прозрачный ковчег,
тьму людей повидавший,
прерывая свой бег,
он метет опоздавших...

О ночное метро
с четырьмя пассажирами!
Рвется аккордеон,
песня плачет настырная...

Городское нутро
с проблемой квартирною,
сбереги и укрой
человечество мирное.

Ты — прохлада и вдох.
Ты для сердца прибежище.

Но не дай тебе бог
стать вдруг бомбоубежищем.

ПЕРЕУЛОК КАПЕЛЬСКИЙ

Переулок Капельский.
Поворот к тебе...
Грунт копают каменный,
возятся в трубе.
Будто бы не в кабеле —
роются в судьбе.

...Укатили вскоре,
Млечный Путь зарыв.
Вроде мы не в ссоре,
но под землей — разрыв.

Схватишься за голову,
на этаж мой взмыв.
Мы — как будто голуби,
но под землей — разрыв.

Между нами крутится
колесница лет...
В автомате с улицы
наберу твой след.
На углу предательском,
там, где стенд афиш.
Переулок Капельский,
почему молчишь?
Улиц гром компрессорный
чувствует спина.

...Проводом отрезанным —
в трубке тишина!..

БРОДЯЧЕЕ ДЕРЕВО

Собак повесили в Сокольниках —
младенцев уличной тоски.
Сказал садовник: «Это — школьники».
В глаза впечатаны снежки.

Четыре тени от березы
слепым упреком детворе.
И только выступили слезы,
собачьи слезы на коре...

С тех пор то дерево бродяче.
Рассказывают снегири,
что ночью на краю зари
береза плачет по-собачьи
с небесной тайною внутри.

У каждой школы на планете
есть добрый знак: «ВНИМАНЬЕ! ДЕТИ!»
В Сокольниках повесьте знак —
«ЗДЕСЬ ДЕТИ ВЕШАЛИ СОБАК!»

АНТИЦИКЛОН

Вот уж не думал, совсем не ведал,
как-то считалось испокон —
бабье лето есть бабье лето...
Сказало радио:
антициклон.

Солнечно в мире. Тепло. И тихо.
И все, что тлея, уходит вдаль —

это всего лишь метеоприхоть.
Улыбка твоя — без минуты печаль.

Жизнь улыбается —
я не верю —
как с нездоровым румянцем клен.
Ты улыбаешься —
я не верю,
бабье лето — грустный закон.
Как за какой-то прозрачной дверью
словом нерусским я оглушен...

Солнце уже над землею низко.
Молчат улыбчиво соловьи.
Где-то близко,
совсем близко
дождь притаился,
как слезы мои...

ЗАКЛИНАНИЕ

Больна бумага немотой.
Заговорю ее тобой.
Смешав чернила с тишиной,
в полночной комнате чужой
заговорю ее тобой.

Всю площадь белого пространства
покрою именем твоим,
сто раз «прощай» скажу и «здравствуй»

и в клочья разорву,
и в дым...

И новый лист начну пустой,
Заговорю его тобой.
От хвори недовоплощенья
заговорю его тобой,
и от проказы вековой,
что притворяется тоской,
заговорю до озаренья!
И буду ждать перед луной
бумаги белой избавленье...

Но отчего я сам не свой?
Лет негатив назвав судьбой,
боюсь я тайны проявленья —
когда на белом, как виденье,
всплывает вдруг стихотворенье
контрастной тенью роковой...

ПАРАД ПЛАНЕТ

Во тьме астральной дорог, развилок,
через знаменья погасших лет —
кто там выстраивает в затылок
восемь
бритых
голов
планет?

Стоянье это на миг замрет —
терновая осиянность!

А может быть, это крестный ход
в соседнюю туманность?

Там тайна вещая орбит —
свистящая нереальность,
как друг мой физик говорит:
«Простая экстремальность».

Что значит в небе этот парад?
Пусть каждый по-своему судит.
Но горы выпрямиться хотят,
и чуть-чуть волнуются люди.

Ночь.
Восемь
выстроилось
огоньков.
Мы им тревожно рады.
Они —
как свет
военных
грузовиков,
мигающих на автостраде...

ГОСПИТАЛЬ В СЕНТ-ЛУИСЕ

Ему бы помощь оказать,
но врач его не хочет брать,
мол, что за парень — просто с улицы.
С ножом в спине по рукоять
попал он в госпиталь Сент-Луиса.
Час отстучал... И входит мать.
Но мало долларов опять.

Он так не хочет умирать!
А люди все еще торгуются...

...В мертвецкой парень тот лежит.
Стеклянный глаз полуоткрыт —
упрека холод колокольный:
зачем куда-то век спешит?
Его спине уже не больно.

С тех пор приходит сон ко мне —
мертвецкий холод из Сент-Луиса...
И ты, Земля моя, в огне,
летишь
    с ракетою
        в спине!

А люди все еще торгуются...

НОЖНИЦЫ И ЧЕРНАЯ БУМАГА

Черная бумага в правой руке,
в левой — сверкают ножницы...
«Будете как? В козырьке?
Вон образец на треножнике...»

Не парикмахер — «чик-чирик»,
ножничных дел художник.
Режет лица моего черновик,
правит его, безбожник.

«Нет,— говорит,— в искусстве границ».
И с огоньком вопросительным
шутит: «Мы кто? Вырезатели лиц
или их выразители?»

Я шевельнуться боюсь, а он
режет,
        режет,
                режет...
Теней бумажных миллион.
Целое побережье.

Что для него мой профиль простой?
Тени не одномерны.
Носит в очах туманный настой,
будто он сын Андромеды.

Режь меня ножницами, левша,—
левой,
        левой,
                левой!
Не получается в профиль душа.
В фас попробуй сделай.

Режь меня ножницами, судьба!
Что же так неумело?
Не получаюсь я у тебя,
профиль хотя бы сделай.

* * *

В сапогах гармошкой — не мадонна...
На последней станции метро
жду тебя у первого вагона...
Боже мой, как все это старо!

Голубым холодным безразличьем
оглушает метрополитен —

из волны выходят Беатриче,
Натали, Офелия, Кармен...

Ждать — какое чувство человечье!
Мыслей и души единый вдох.
Ждать — глагол надежды всех наречий,
языков, столетий и эпох.

А вокруг блестит афинский мрамор
с черными прожилками внутри.
В метрополитене неодрама.
Древняя трагедия любви.

В эту пору лунных «аполлонов»,
Олимпийских игр и катастроф
жду тебя на краешке перрона
у гремящей пропасти ветров,—
трепетно, светло, приговоренно —
жду тебя у первого вагона
на последней станции метро...

ЧАС ЗЕЛЕНЕЮЩЕЙ ТРАВЫ

Поезд дрогнул...
Не хотела ты прощаться.
И вослед тебе, во мраке у моста,
звон ударил зеленеющего часа!
Стала верба просыпаться неспроста...

Мне почудилось: природа улыбалась.
Этой ночью захмелевшая весна
в темноте вокруг бесшумно разгулялась!
Ничего уже не видела она.

Зеленело все, что было оголенным.
Я ж безбожно не поверил в этот знак.

...А окно твое летело,
как икона —
в поцелуях моих горестных во мрак...

* * *

Друзья пытали, как враги,
враги хвалили, как товарищи.
«Ты предаешь свои стихи».
«Нет, Вы ведете подобающе!»

Я всех отринул. Одичал.
И заболел своей ошибкой.
И вяло, ровно отвечал
и на укор, и на улыбку.

Порвалась цепь живого круга.
И все теперь уже не так.
Осталась совесть вместо друга
да память, как заклятый враг.

СЛУЧАЙ СО СВЕТОМ

(Картинка из коммунального детства)

...Починяю бездарно я пробки не те,
и весь дом солидарно сидит в темноте.

Под ногами опасно скрипит табуретка,
но внизу умоляюще смотрит соседка.

Свет мигнул и погас... Ух, какой же он робкий!
Лишь белками из мрака уставились пробки.

Я забрался сюда, чтобы людям помочь,
чтобы день зарядить, чтобы выкрутить ночь.

Но соседский пацан, слышу, шепчет: «Поэт!
А исправить слабо электрический свет...»

И выходит, что я заблудился во мгле
и один отвечаю за свет на земле.

И выходит, что я по какой-то вине —
как наказанный честью, оказанной мне!

...С этих пор я храню восковую свечу.
Что-то в жизни своей я исправить хочу.

Отсырели слова — как дрова не горят.
«Все путем, дорогой,— в жэке мне говорят.—

Книгу жалоб положь, что тебе она даст?»
Но во мне еще жив коммунальный гимнаст.

И ночами приходит навязчивый сон:
не работает свет и разбит телефон,

потолок протекает... Куда ж ты, поэт?!
Может быть, все ослепли, и тьма — это свет?

А соседский пацан (он не вырос ничуть)
дразнит из темноты: «Эй! Исправь что-нибудь!»

И обидно до слез за себя, за чужих,
что зависишь, как свет, ты от пробок иных!

Стихи на осенних листьях

1

БЕЗЫМЯННЫЙ ЛИСТ

**Ему на дереве не жить.
И видно, выхода нет лучшего —
прийти домой и заложить
его в старинный томик Тютчева...**

2

МОКРЫЙ ЛИСТ, ПРИЛИПШИЙ К СТЕКЛУ

**— Кто ты, лист,— вы, конечно, спросите,—
мол, откуда ты, старина?
— Я — почтовая марка осени
на прозрачном конверте окна.**

3

БРАЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТЕ ТОПОЛЯ

**Холост я. Одинок на ветке.
Все удобства с видом на юг.
Молодую ищу соседку —
листик, птицу, но чтобы — друг.**

4

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТЕ КЛЕНА

Меняю желтый
на цвет зеленый
с потерей места
на ветке клена.

5

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ОЛЬХОВОМ ЛИСТЕ

Лист звучащий.
Сезона новинка.
Гибкий.
Стерео.
Лист-пластинка.
Для спектакля «Вишневый сад».
Ветра свист —
на одной половинке,
на другой —
шум дождя и град.

6

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТЕ ДУБА

Все — на лесной субботник!
В помощь милиционерам
требуется охотник
на браконьеров!

7

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ОСИНОВОМ ЛИСТЕ

Летная школа № 5
граждан листьев учит летать.
Плавно кружиться
и танцевать,
а также в воздухе умирать!
До ноября набор продолжается.
Листья зеленые не допускаются.

8

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТЕ БЕРЕЗЫ

В кооперативе «Зеленый лебедь»,
в коллекции поэта N
продается Листопад-69
с набором воспоминаний
для четырех стен!

9

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИПОВОМ ЛИСТЕ

Разыскивается композитор,
укравший мелодию осени!
Приметы:
лицо выразительное
с меланхолической проседью.

10

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЛИСТЕ ОРЕШНИКА

Товарищи листья!
Прекратите базар!
Ведь это никогда не кончится...
Нас подожгли! Пожар!
Последний объявляю товар —
продается фонограф
из сушеного колокольчика!

11

НАДПИСЬ НА ПОЛУСГОРЕВШЕМ ЛИСТЕ

Обвиняется дым —
он заслонил звезды!
Обвиняется поэт —
он не защитил красоту!

Из поэмы

Падаю и поднимаюсь

Жизнь хирурга перенаселена
несчастьями.

Н. Амосов

ПРОЛОГ

Именем всех падающих,
в память о всех неподнявшихся,
встанем и помолчим!

Сквозь краткой жизни мельканье,
канат разрубив, как нить,
падать учусь — у камня,
учусь у травы — всходить.

Пусть горе
среди
вдохновения
обвально
к земле
прижмет,
есть звездное антипадение —
ракет
вертикальный
взлет!

Встать
и идти по полю.

Утро. Судьба. Страна.
Встретимся в точке боли —
ты,
я,
она.

БЕЛАЯ СИМФОНИЯ

1

...Лежу забинтованный белыми стенами
глухобетонными,
бездонными, сонными коридорами,
взглядами,
стонами.
На ниточке пульса вишу в тишине,
с чьим-то пульсом запутавшись.
И как на экране — в белом окне —
моя мама из будущего...
Лежу, и мне кажется:
краски
погасли
в мире,
а тень моя кружится
в пляске
Пегасом
взмыленным...
Откуда взялась эта белая магия,
этот угар?
Горит моя жизнь —
белой бумагой,
белый пожар...
жар... жар...

Белеет зелень,
белеет солнце,
белеет кровь,
и индевеет
над головою
белый кров!
...Просто так
неизвестные парни,
кто, не помню лица,
меня убили в Филевском парке,
убили не до конца.

«Пьяный... А может быть, умирающий?..
Встань!»
Но я будто к земле прирос.
Кто-то сказал: «Он лежал вчера еще».
Но у спешащих один вопрос:
«Пьяный?.. А может быть, умирающий?
Встань!»
Но подняться — как дотянуться до звезд...
Рядом гитара бренчала обычно,
она на веревочке своей
водила лохматое безразличье —
помесь подростков и пуделей.

Ни за что умирать — обидно.
Ни за что убивать — не понятно.
Где ты, истина?
Тебя не видно.
Где ты, небо?
Одни лишь пятна...

...Ах белизна операционной!
Боль в самом сердце вьюги.
Мчатся вокруг меня стены сонные —
словно я в центрифуге.

Чьи-то лица в белых повязках
за облаком камфары...
Кто ты, наркозная маска
с дыханьем черной дыры?
И что в моем теле твои пальцы рыщут?
Меня на столе не ищи,—
в белой
сирени
свищет
ливень моей души!..

В ту весну я учился на первом курсе МГУ. В одной из филевских школ я читал ребятам на вечере стихи, где были строчки:

«Как надоело тревожно жить,
если б ты знал!
Разве не правда, что у Земли
добрый овал?

Разве птицы родятся такие,
чтоб не летать?
Пой, соловей, мы очень живые,
чтоб умирать!»

А потом, после вечера — этот удар ножом.

...Белые санитары
в белом кино
бежали...
Белая автомашина
камерой
наезжала...

Я помню все.
И ничего не помню...

Я ехал по коридорам
над стонущими людьми,
и вспыхивали семафорами
лампочки над дверьми...

И потолки, потолки
мелькали передо мной...
А сзади звонил тревожный
приемный
покой.
Какой-то
умерший
парень
меня ослепил вдруг...
Ах, зашейте мне память,
зашейте, хирург!

Я в тридцатой палате,
как в главной роли,
из драмы,
где все обязательно без руки,
и кажется,
что мир весь болен.
И где-то лишь в других Галактиках
есть истинные здоровяки.

Кого я сменил
на кровати этой?
Его, говорят, увезли вчера,
но до сих пор сквозь бинты мои,
как сквозь наушники,
доносится голос...

«...Жизнь оборвалась, как полотно
недорисованное.

Солнце —
как крови моей
пятно, —
вам адресованное.
Там, где из рук моих
выпала
кисть,
там, где простились, —
кисти
колосьев
ударили ввысь! —
заколосились...»

Как тебя звали, художник?
Кровать твоя так холодна...

...Алеет Госстрах
за окном невинно.
Ночная сестра,
разбинтуй меня, милая!..
Ночная сестра, ну чего тебе стоит!..
Зеленая лампа,
дежурный столик.
Шприцы кипятятся,
шипя в тишине.
И ты улыбаешься скромно мне.

Скажи, это правда?
Я слышал, в больнице пропала собака
с ушами длинными
по кличке Рассвет...
Но что это?
Я куда-то падаю
в омут лет.

А небо — не понимает.
Земля — не принимает.
Падаю и поднимаюсь,
маюсь... маюсь... маюсь...
Я вижу — летчик рядом горит...
«За всех вас падаю!» — он кричит.

Как два пожарища его глаза,
в них закипевшая слеза.
Ты и огонь. Огонь и я.
Агония... Агония...

Который час? Чш-ш...
Двадцать минут третьего.
Как две полярные звезды,
Глаза сестры светятся.

Наверно, другие сестры
в парк ушли за сиренью,
белея лебединым островом
с царапанными коленями.

Я слышу, доктор шепнул: «Впрысните «герою» четыре кубика».

А какой я герой, к черту,
когда, умирая, плачу?..
Сестра, золотую челку
не прячьте!..
Не прячьте глаза в тумане,
как фары автомобиль,
меж нами дорогомания
в дожде и в любви.
А даль-то какая, даль-то!
Сестра, это что за вздор?

Симфония ли асфальта,
больничный ли коридор?!
Ко мне Вы все ближе, ближе,
к чему этот лазарет?
Я фары ваши не вижу,
а лишь различаю свет...
Моргайте! —
а то столкнемся,
столкнемся —
и разобьемся.
И так достаточно драм,
а это не надо вовсе
Вам.

...Сестра милосердия,
где Вы?
До утра мое сердце слева,
до утра
я еще
поживу
и Вас в сон к себе позову.

Молния!..
...Мне бы только успеть проскочить
в эту огненную
трещину
тайны...
Молния!
...Вновь, как в детстве, хочется жить...
Молния!
...Это лопнувшей лиры отчаянье.

Может, я предпоследний поэт грозы,
и на душе озонно и ясно.
Молния!
...Без единой слезы...

Молния!
        Остановись!
                Ты прекрасна!..

Кружатся стены вокруг меня матовые.
Может быть, жизнь моя тихо разматывается.
Жизнь — это кокон, кокон, кокон
из вереницы больничных окон.
С первых минут — до последнего срока
ниточка пульса так одинока.
Может быть, я разбинтуюсь сейчас —
стану ничто. Пустотою для вас.

Профессор, Вы снежный человек
в белой шапочке и в халате,
Вам, наверное, тысяча лет,
и у Вас снежный характер.

Но почему глаза Ваши тают?..
И в воздухе плавает шприц...
Сквозь марлю тумана,
                как кровь, проступают
пятна коричневых лиц...

...Вбегаю в березы.
                Позвал меня кто-то... Вбегаю.
Не знаю, что делать. Бегу. И судьбу заклинаю,
чтоб все мои строки о жизни, о доме, о маме —
сейчас забелели бинтами,
                бинтами,
                        бинтами!
Березы бегут... Словно бинт бесконечный,
                                мелькая...
За что —
        разбинтовывать прошлое —
                        мука такая?

Я раненный в мирное время,
и почему
Земля — головой забинтованной —
снится в дыму?
Зовет меня кто-то...

Но время — большая помеха.
Там нет никого... Одно безымянное эхо...

И я, опоздавший,
у пропасти той на краю
в холодном тумане, нелепый, бессильный, стою...

Вот берег. Вот лодка. Паромщик, наверное, спит.
Там лес на крови за рекою ночами шумит...
От самой войны — березовый бинт без конца.
Нас много таких без отца, без отца, без отца.

Остановлюсь. Покричу еще раз.
День надо мною пока не погас,
и по его потайным голосам,
может быть, все-таки выберусь сам.

Что тебе снится, над темной водой
лес на крови молодой-молодой?
Может, приходят в твою тишину
тени деревьев, сожженных в войну?

Каркнуло вдруг надо мной воронье:
«Лес на крови — поколенье твое».

...Куда я лечу?
Не понимаю, куда я лечу.
За воздух земной цепляюсь —
падаю
и поднимаюсь!..

Падаю
в звездную
пропасть глаз!
Последний фонарь лампадою
где-то сзади погас...

Сколько мне жить осталось?
Сколько?
Лечу
на дыбе железной койки...

Муза моя —
собака больничная
с сердцем вживленным,
с глазами Лайки,
боль всех людей и беда моя личная —
пульс мой возьми и не будь попрошайкой.

Но промолчала лохматая нищенка.
Лишь загорелась
правее Ковша
только что умершего душа...

...Мои мысли запутались, как стропы...
Оглянулся —
не было стрелок на пустом циферблате луны.
Я летел в бесконечность...

...Планета Осень,
я твой астронавт.
Порядковый номер стерся.
Здесь, как марсиане, листья парят.
И лишь тишина — их сторож.
Планета Осень,
я бью челом
на пляже пустом и сером.

Я место посадки нашел с трудом.
И все же дрогнуло сердце.
Все в мире падающее — твое.
Бескрайно,
плавио,
отвесно...
Все люди, листья — в небытие...
Бери, золотая бездна!
Ни бог не слышит иас, ни сосед.
Все можио поиять иакоиец-то.
Ты видишь, я молод.
Еще не сед.
И даже глаза из детства.
Я вижу падающих друзей,
таких молодых и ранних...
Планета Осень, их не убей.
Домой возврати хоть раиеиых.
Плаиета Осеиь, верни полет!
Лишь облачной дымки пряжа...
Все в мире падающее — твое.
Но все, что стартует,—
иаше!

2

Мои ночи кончились утром.

Ф. Достоевский

...Я глаза открываю.
И сиова вас вижу...
Я жизиь открываю.
Я мир открываю.
И плохо еще понимаю,
что выжил.
Как будто всю Землю выжал!
И отдыхаю...

Здравствуй, младое, злое
секунд незнакомое племя! —
Незримое, но родное
время.

Значит, не все потеряно,
надо сжаться в комок.
Дай всем попутного времени,
мне же —
отсрочки глоток.

...Струит тишина.
Сосед засыпает под морфием...
Ночная весна
вздыхает невидимым морем...
И далеко-далеко,
в парке
на танцплощадке,
играет аккордеон
горько и сладко.
Мои современники
плавают парами,
и время кружит, кружит...
Я с ними танцую там, в парке,
с самой красивой девушкой
по имени Жизнь...

«...Я Митрич. Будем знакомы,—
шепнул в углу старичок.—
Чего молчишь? У нас как дома.
А ты, стало быть, новичок.
Вот тот, что стонет,— летчик,
который спит — циркач.
А этот споет нам лучше...
Но только б не слышал врач.

В тишине, не дожидаясь просьбы, кто-то вздохнул и начал петь.

«Лежу в отделении травмы,
вторая кровать от окна.
Комедия это иль драма,
врачи говорят, что «хана».

Не видел я самосвала,
сгружая песок в порту,—
машина забуксовала
по моему хребту.

Эх, мне бы глоток заварки,
не этот бледный компот.
Моя триумфальная арка
на кладбище подождет.

Любимая мне не верит,
никто мою душу не видит,
курить не дают «Казбек».
...Вскроют меня и скажут:
«Хороший был человек».

Палата молчала, только циркач тяжело дышал во сне.

Его жизнь по стене мотала,
будто всей земли ему мало!
Извергая рычащий звук,
ходуном ходила,
дрожала
«Бочка в парке», тая испуг,
доски в обруче прогибала...
Как собака, не предавала,
центробежная сила — друг,

круг за кругом,
за трюком трюк,
и вдруг —

мимо глаз
и чьих-то рук —
в кратер крика,
в пропасть мук,
в снег халатов,
бинтов и
лиц...
О полярные ночи больниц!

Еще было темно. Летчику становилось хуже.

— Кровь нужна. Пересадка кожи.
А глаза — до чего похожи!..

И ладонью, желтой от йода,
врач коснулся судьбы живой,
и как будто сигналом кода —
жар
ударил
далекого
года!
Даже вздрогнул хирург седой —
вновь на койке слева, у входа,
этот лик из войны былой...
Брянский госпиталь фронтовой.
Оставалось раненых трое,
и один сказал за ребят:
«Смерть нас, доктор, не обескровит —
в наших жилах течет заря...»

Он лежал головой в закате,
оставаясь в последнем дне,

и порхала свеча в палате,
тени каркали на стене!

Не ногами уходят из жизни,
а глазами.
 Прощай, солдат.
Ты не видишь, как бьет под Жиздрой
твой уроненный автомат!

...Вся Земля головой забинтованной
снилась доктору годы подряд...

Операции, операции...
Тихо дышит в окне заря.
Если очень в войну умирается,
то уж после войны — нельзя.

И спасибо тебе, милейший,
самый добрый из докторов,
Алексей Андреич Милехин,
ото всех спасенных голов.

Ну, а кто не доехал до дому,
не дошел до зари во мгле,
спи спокойно
 бессмертным донором,
кровь свою
отдавший
Земле...

Наш летчик очнулся и попросил пить, и я впервые услышал его голос.

«...Любил я аэрокружки
и самолетики фанерные,

чтоб запрокидывать Вселенную
и бить машину в черепки.

На адском аисте над временем
турбину выключить.
                    И жить...
И век наш нежно,
                    но уверенно
из мертвой петли выводить!

О испытания испарина
на фюзеляже и на лбу!
И мыслей и обшивки спаренность
у начинающих борьбу.

На высоте полтыщи метров
катапультироваться — как?
Недогоревшей сигаретой
машина
        ахнула
                во мрак!..»

Солнце не спешило подниматься.

Няня Петровна, колдунья,
встань,
        отведи беду.
Белый налив полнолунья
тает в больничном саду.

Вот, улыбаясь печально,
пальцем тихонько грозишь:
«Все вы пока невставальны»,—
и превращаешься в тишь.

С трудом повернув голову, я стал различать лицо старика.

Как будто маску мрак снимал
с лица живого.
И скулы спящего ломал
и делал снова.

Сосед вздохнул уже во сне
дыханьем старца
и в бликах утра в тишине
стал проявляться.

Сначала губы, чтобы пить,
и профиль в целом.
О чудо утра — выходить
из тьмы на белом!

Когда все зримое в уме,
лишь голос выпи,
мир словно молится во тьме
счастливо выйти.

И обретает вдруг черты
все то, что дышит,
и зреет цвет из темноты,
и солнце —
пишет!

Крупнее, резче на заре
глаза, ресницы.
Как на больничном алтаре —
живые лица.

А за окном роса царит
и, властью влаги
поведав тайну, мне велит —
в поля бумаги!

Здравствуй, Звезда Эпсилон Возничего!
Ты меня вывезла
или не ты? —
В мрак
уронила
колодца
больничного...
Вытащила из немоты!
И посадила
в седло мечты!

О мир, подаренный и родной,
здравствуй!
Твой врач склоняется надо мной
и сад твой.

По белой стене в палате пишу
глазами слева направо.
Букву за буквой вывожу,
медленно и коряво.

Сто раз стена эта до потолка
измерена поневоле.
А может, просто она — доска
в школе человечьей боли?

И здесь, научившиеся умирать,
мы — все — ученики жизни.
Одна, вторая, третья кровать...
И шевелятся губы опять
с надеждой без укоризны.

И наплывает алый рассвет...
Но только...
Митрича с нами нет.

Ты, жизнь в окне,
как Красная книга,
сквозь розовый этот туман
спаси остальных от смертного мига,
укрой,
защити от ран!
Три имени. Три человеческих крика.
Петр... Павел... Иван...

Каждую секунду рождаются в мире
три человека, а уходит один.
Но нас воскресло
сразу
четыре.

Из самых
невозвратимых глубин!

И пусть пока ЧЕТЫРЕ — ОДИН
в схватке жизни со смертью,
верьте:
настанет день —
мы все не умрем!
И единица станет нулем.
Недаром, в бешеной круговерти
падая,
мы встаем!

На локтях приподнимаюсь,
гипса разломав тиски,
поднимаюсь,
улыбаюсь!
Вижу дрожь Москва-реки!

Крымский мост. И карусели.
Через сад Нескучный, пусть
чаек
    белые
        качели
раскачают в клочья грусть!

Я от радости рассеян,
очумелый от комет.
Восемнадцать лет расселись,
словно чайки на корме.

Покачало меня мало
по высоким небесам.
Покачала меня мама,
а теперь качайся — сам.

О полет стихотворенья!
Раскачаться... И застыть.
Утра чудное мгновенье
после смерти пережить.

В мой весенний день рожденья
пусть все дальше, но родней
майский кач Освобожденья —
всекачание людей!

Человечьих рук качели.
Я от страха
не кричу —
над бушующим весельем
новорожденный лечу!

Кач — минута.
Царь — минута.
Четырем годам назло.

От зеленых слез салюта
в небе чисто и светло...

Вижу — перья в поднебесье,
перья тысячами...
В птицах наше равновесье,
но несбыточное.
Я одно перо поймаю,
чайкой выроненное...
О, душа моя немая
и невыраженная!

Дай мне песню дописать,
песню старую.
Чтобы Землю всю обнять,
криком стану я!..

В гипсе и в глиссоновской петле дни тянулись бесконечно.

...Июльский дождь — как детский плач.
Жизнь — из гнезда упавший грач.
После дежурства дремлет врач,
а я, больной, уже ходяч...

В Нескучный сад иду один,
минуя хоровод рябин.
И застываю меж берез,
как в горле леса, комом слез.

Мне жизнь дана однажды летом,
однажды посреди веков.
И все, что после,—
под заветом
непостижимых облаков.

Но по тропинке — боже! Ты ли? —
в халате белом, мне грозя,
бежишь стремглав: «Да Вы простыли!
Так далеко ходить нельзя».

А я молчу. В моей неволе
не любишь ты меня, княжна.
Была нежна к моей ты боли,
не к сердцу ты была нежна!..

И я шепчу: «Моя сестра,
ты понимаешь, мне пора...»
Костыль —
швыряю!
И — ура!

Всегда нам что-нибудь пора:
бороться,
мучиться,
влюбляться,
и умирать,
и возрождаться!
И каждый раз решать: пора!

А вчера друзья подарили мне календарь на целый будущий год.

Такой неведомый и чужой
лежит на тумбочке передо мной.

Не словарь, не букварь,
а простой календарь.

Дел моих государь.
Дней моих отрываръ...

Если так пробегу —
я пространства не выражу,
если так проживу —
я не выражу время.
Лучше эту тревогу,
как исповедь, выложу
с общей болью земною,
с сомненьями всеми.
Знаю, знаю, что делать.
А может, не знаю, что делать?
Как сказать по-июльски,
чтоб сейчас меня жизнь поняла?
Вижу —
в небе высоком
кто-то чайкою белой, как мелом,
чертит формулы жизни
и стирает их тенью крыла.

Что-то надо мне делать...
А кто-то уже догадался.
Он нашел мои строки,
рифмует мои мечты...
Что-то надо мне делать,
пока я покою не сдался.
В Первоградской больнице белый лист откупив
за бинты.

...Сегодня 7 июля 1964 года. Всю ночь в соседней палате умирал таксист. К утру планета сделала еще один оборот... Я проснулся.

Сон мой был, как знаменье, не зря —
выжил старый таксист за стеной:
в первый раз мне приснилась Земля
с разбинтованной
головой...

Февраль, 1983 г.

Стихи после Англии

РЕЙС 241 «МОСКВА — ЛОНДОН»

Туманный Альбион
из окон самолета —
как смутный эмбрион,
где сердце бьется чье-то.

А может, не дыша,
вселяя беспокойство,
там тикает душа,
как минное устройство?

Старинный механизм
там все-таки сломался.
И долго смотришь вниз —
над волнами Ла-Манша...

СЛАЙДЫ ЛОНДОНА

Мандаринового цвета даблдеккер[1]
распахнулся...
Вот и Нельсона колонна.
Мы увидеться смогли лишь в этом веке.
И очнулось мое сердце: это — Лондон.

[1] Даблдеккер — двухэтажный автобус.

В Темзе брезжило лицо Большого Бена.
Странный город, словно Гейнсборо полотна.
Это непереводимая поэма
на язык далекий, русский... Это — Лондон.

Тени ждут у входа в Тауэр вчерашний.
Королями переполнена колода.
Пленка жизни или дождь шуршит над башней
в окровавленных подтеках?.. Это — Лондон.

Клерк в цилиндре рядом с лошадью в Гайд-парке.
И с моста —
над одиночеством холодным —
крик высокий, как собор святого Павла.
И патрульная сирена... Это — Лондон.

В облегающем атласе и на шпильках
женщин будущего ходят эталоны.
На «роллс-ройсах» укрываются от шпиков...
Это — Сохо. Это — яма. Это — Лондон.

У метро студент играет на волынке
под неоновым лицом Ален Делона.
Как на роликах гигантские ботинки —
черный блеск таксомоторов... Это Лондон.

Это инглиш. Это холода уроки.
Профиль Байрона в толпе у Ковент-Гарден.

... В темноте в кругу друзей читаю строки.
Слайды Лондона... пощелкивают кадры.

ТЕННИС

Пок! — Пак!..
Пок! — Пак!
Так звучит музыка тенниса.
Пыльный персик, ударяясь о ракетку,—
пок! —
рикошетом описывает дугу времени —
пак!..

...Лорд Велингтон наклоняется к мячику...
Ему мешает боковой ветер с Ла-Манша. И вдруг,
развернувшись,
он посылает мяч в море —
пок!..—

Пак! —
отвечает ему через месяц кровавым ядром
Бонапарт.

Пок! — Пак!..
Пок! — Пак!..
В бок — штык!
Штык — в пах!..
День — год.
Год — век.
Пок! — Пак!..
Лет бег.

В снежных шортах бледные джентельмены.
Пок! — Пак!..
Негры — как черные тени белых.
Пок! — Пак!..
Справа — слева. Справа — слева.
Пок! —
поднимается фунт стерлингов.

Пак! —
опускаются руки у Королевы.
А может, так стучит сердце Англии?
Или по-другому совсем:
бим! — Бам!
Биг — Бен.
Век — нам.
Миг — всем.
Или же в Сохо, уже с восточным акцентом:
пинг — понг!
Пинг — понг!
Жизнь — сток.
Гон — Конг.
Жесток
пинг — понг.
Итог:
жизнь — гонг,
когда среди буханья ударов нет места для ударов живого сердца.

БЕЗДОМНАЯ СОБАКА В СОХО

Ты меня не ударь.
Я собака из Сохо.
Моя мать — улиц гарь.
Брат мой — лондонский грохот.

Ты меня не ударь.
За спиной своей тощей
меня прячет фонарь,
согревающий площадь.

К шерсти градины слез
прицепились репейником.

Под мостом Черинг-Кросс
хоть бы в петлю ошейника!

Бедный Йорик, прости,
все равны мы, по сути.
Кость одной белизны —
псы и люди.

Одинокая кость,
безъязыкая тварь,
я, природа, твой гость,
ты меня не ударь.

Мертв язык мой от холода.
Ветер в уши свистит...
Череп мой,
словно колокол,
по бездомным гудит!..

На снегу я прилег,
умирающий в Сохо,
теплый твой уголек,
ледяная эпоха.

Как собачью медаль,
лунный диск кто-то прячет...
Ты меня не ударь
во Вселенной бродячей...

РАЗГОВОР В БАРЕ НА ОКСФОРД-СТРИТ

...Газует рядом смерть —
легавый красный «форд»...
Левосторонний смерч
хромированных форм.

Из-за угла — рывок.
Шарахнусь, не дыша.
Левосторонний шок.
Была б душа — левша!

Здесь левой бьют по морде
под лютый рев трибун.
И лишь в палате лордов —
правосторонний бум!

Жизнь — хроника в накале.
«Вы любите кино?
Джин с тоником в бокале
иль виски?» —
«Все равно».

Она болтает мило
и говорит: «У нас
трамвай древнейший в мире,
метро и ватерпас...»
А я смеюсь: «Нет женщин
моложе в мире Вас».

Одетая искусно
в джинсовое тряпье,
девчонка скажет грустно:
«Все в Англии свое.
Тепло — по Фаренгейту,
по Гринвичу — «тик-так»...»

А совесть — по Шекспиру?

О если б так!
Была б такая мера
у совести земной —
для батрака,
премьера,
для барда под луной,
была б такая мера
для лиры мировой!
Чтоб в будущем услышать
от наших же детей —
на три Шекспира выше
поднялся дух людской!

ИМЯ ПОД НОГАМИ

В Вестминстерском аббатстве захоронены великие люди Британии.

Здесь каменный пол истертый,
как старый шиллинг, блестит
и тень королевы Истории
мантией шелестит...

Сквозь щель из проема дальнего
о камень разбился блик...
Шесть букв под ногами — ДАРВИН.
Вмурованный в мрак родник.

Два шага. И каблуками
я снова к земле прибит.
— Как имя твое, о камень?
— НЬЮТОН,— он говорит.

Он верил в земных атлантов,
он нам завещал искать,
сказал: «На плечах гигантов
другие будут стоять».

Приходят гении гордые,
но, истину оголя,
как яблоки,
                    наши головы
притягивает земля.

Зачем печалиться, спрашивается,
смотри в лицо темноты —
морщины лица разглаживаются
до скользкого льда плиты.

Я имя твое читаю
и чувствую плотью прах.
На имя твое ступаю —
стою на твоих плечах.

Слова по-английски путаю,
себе говорю: «Не трусь».
Стою на плечах у Ньютона,
все кажется: вот сорвусь...

И чудится —
                    крик истошный
из мрака миров летит...

...Лицо королевы Истории
в колодце крови стоит.

НОЧНОЙ ХИТРОУ. ПОЛЕТ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

На птеродактилях летали вы
хоть раз? —
с клеймом «Люфт-Ганза», «Ал-Италия»,
«Эр-Франс»?

С хвоста до клюва размалеваны,
широкогруды, узколицы
небес грохочущие клоуны,
трансатлантические птицы.

Садятся — взлетают.
Садятся — взлетают.
Это ритм Хитроу.
«Боинг» ночь бодает.

В баре тянем кофе мы
под конфету «Спорт».
...Чемоданы... Коферы...
Конвейер... Стоп!

Забастовка в Хитроу!
Лондон не принимает.
Стюардесса Петрова
сигарету ломает.

Там, где лайнеры слепо
реют в облачном вареве,
не разбить бы небо,
как живой аквариум!

Спят вповалку нос к носу
звери аэродрома,
будто в баки с горючим
им подбросили брома.

Я спрошу у радара,
что он слышит во сне,—
может, сердца удары —
как шаги по Луне?..

Там бастует неслышно
среди звездных миров
перед носом Всевышнего
профсоюз облаков!

Мол, задымлено небо
и оглохли мечты.
Дайте ласточкам хлеба!
Небесам — чистоты!

Забастовка в Хитроу.
Время — стоп.
На дыбы.
Можно времени пробу
взять сейчас у судьбы.

Будто в космос открытый,
дверь толкаю с трудом...

...А оттуда грядущего
огрызается гром...

Ирландские страницы

Зонги для уличного театра

Появляются бродяги.

Первый бродяга

Трали-вали! Трагифарс!
Начинается рассказ,
миной тикающий в нас!
раз!..

Второй бродяга

Пятна смойте с занавески!
Кровь — из раковин гитар.
Устарел сюжет библейский —
«Езус Христос — Супер-стар».
На Шафтсбери-авеню —
драма новая в меню!
Шоу-шлягер, господа! —
Шоу-шлягер, господа! —
БОБИ СЭНДС — СУПЕРЗВЕЗДА!
Новый мученик истории,
Боби Сэндс — голодный бог.

Выбегает толстый тори.

Тори

Подвох!
Быть звездой не может узник,
а тем более мертвец.
Надо было щели сузить
у решеток, наконец!

Первый бродяга

Роберт Джеральд Сэндс, столярных дел мастер, 1954 года рождения, ирландец, по убеждению католик, был арестован по подозрению в хранении оружия. В 1981 году был избран депутатом английского парламента, являясь узником тюрьмы Мейз. Сегодня — 35-й день, как Роберт Сэндс отказывается от пищи. Давление крови 50 на 40. Пульс 35 ударов в минуту.

Камера Сэндса.

Сэндс

...От себя отринуть город.
Льдиной от людей отплыть.
И принять, как схиму, голод.
Воду навсегда забыть.
Отвернуться. Отказаться.
Жизнь от сердца оттолкнуть.
Круг вокруг себя замкнуть.
В бред, как в брод, идти по грудь...
Оглянуться?.. Нет, шагнуть!
Свет борьбы — как Млечный Путь.

Второй бродяга

Продолжается рассказ.
Ангел — в профиль, сволочь — в фас!
В блице полицейских фар...

Вчера вечером в Лондон-Дери убили двенадцатилетнего мальчика за то, что у того был камень в руке.

Ночь выкручивает руки,
в душу ввинчивая муки.
И гуляет газ «СИ-ЭС» —
дух двоюродный «СС» —
Раньше вешали, душили —
руки пачкали.
Газ «СИ-ЭС» в толпу пустили —
трупы пачками...

Появляются у з н и к и блока Эйч в тюремных одеялах.

Хор узников

Мы из блока скорби, люди в одеялах.
В арестантской робе гаснуть не хотим.
Мумии живые в каменных подвалах,
по двору тюремному движемся, как дым...
Не посланник неба, ты — посол народа,
но тебя пытают в сапогах уроды,
даже если видят — ты полуубит.
Это лишь начало. Страшное начало.
И конца не видно у порога тьмы.
Мы — младенцы смерти, люди в одеялах —
на руках у жизни еще дышим мы...

Первый бродяга

46-й день Роберт Сэндс отказывается от пищи. Давление крови 40 на 35. Пульс 25 ударов в минуту.

Продолжается рассказ,
миной тикающий в нас...

Камера Сэндса.

Сэндс

Под ногою оккупанта —
семь веков глухой мечты.
Под ногою оккупанта,
как бутылка из-под «фанты»,
никому не нужен ты.
Корни всех моих артерий
в даль седую проросли —
там не кровь гудит, а вера
в вольный час моей земли!

Разомкнитесь, облака,
в день Святого Патрика!

Пахнет Белфаст душным смрадом,
тянет гарью из глубин...
Дьявол льет в огонь бензин!
Умирает кто-то рядом...
Пахнет Белфаст звездопадом,
подожженным маскарадом
перевернутых машин!
Дьявол льет в огонь бензин!
На костре голодной смерти
я, отступник Роберт Сэндс.
Сквозь зарю решетка светит —
это мой горящий крест...
Голод всех во мне голодных
на невидимом огне.
Души братьев несвободных
молча корчатся во мне.
Пламя голода сжирает,
плавит плоть и распинает,
гены гнева обнажив!

На костре долготерпенья,
множа дух на силу мщенья,
в ядрах клеток зреет взрыв!..

Бродяга включает транзистор.

Радио

Леди и джентльмены! Не забудьте, что после ночного снегопада птицы изголодались. Им сейчас особенно трудно. Разбросайте везде хлебные крошки!

Второй бродяга

Трали-вали! Трагифарс!
Это вам Земля, не Марс!
Здесь стреляют в вас и в нас!
Слышите гитары рокот,
запредельный, гробовой?
Драму видит божье око,
дует на трубе святой!
Дай, архангел, тему рока.
Страшный суд не страшен твой.
Наше время в стиле рока.
Рок — от слова РОКОВОЙ.

Хор бродяг

Сытый голодного не разумеет.
Вы не поймете нас, бродяг.
Холод в дырявых карманах веет,
кости ломает так и сяк.
Мы — второсортные, безработные.
Для государства мы вторсырье.
Наше бессмертье зато свободное!
Это — вторичное бытие!
Где ты, сын плотника? Мы тебя ждали.
Лик твой, как облако, неуловим...

Нового бога мы избрали —
белфастским столяром был он простым.

Сэндс

Может, мама права —
жизни больше я нужен?
И для Кэтрин трава
взойдет вместо мужа...
Я не бог, не герой.
Я такой же, как все вы.
И еще я живой,
боль ползучая слева...
Вы избрали меня.
Я в ответе пред вами.
Это пламя огня
удержу ли руками?

Может, мама права —
я ослушался бога?
Только слишком крива
тень беды и двунога.
В чем-то, может быть, слаб.
Я не бог, как и все вы.
Узник я, но не раб,
но не раб королевы...

Мы, узники блока Эйч, обвиняем правительство Британии в насилии и жестокости. Прекратите пытки! Дайте нам политический статус! Дайте человеческие условия!

Первый бродяга

51-й день Роберт Сэндс отказывается от пищи. Давление крови 40 на 30. Пульс 25 ударов в минуту.

Продолжается рассказ,
миной тикающий в нас...

Сэндс

Пишу дневник и изучаю гэльский.
В окне свистит не ветер — бытие...
Жизнь — как корабль в смертельный миг
апрельский.
Я выстрадал решение свое.
Поступки пусть бывали совершенней.
Великих душ я слышу голоса...
Мне надо с каждым эхом, с каждой тенью
успеть поговорить хоть полчаса.

Прижмусь к стене — мне отвечает Фучик,
Джеймс Конноли, Сандино, Лютер Кинг...
И каждый, кто сатрапами замучен,
как свет, передает свой смертный крик.
Ты думаешь, мне, Кэтрин, очень плохо?
Не верь кому-то, будто я один.
Со мною в блоке Эйч моя эпоха.
Я — из бетонной саги Кухулин![1]
Хочу сказать на гэльском, на родном —
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, но ты опять вздыхаешь...
Ты на английском только понимаешь.
На гэльском все почувствуешь потом.

МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА СЭНДСА
СО СВЯЩЕННИКОМ

Сэндс

Отец О'Мэрфи, знаю я,
послала вас моя семья...

---

[1] Кухулин — герой ирландского эпоса.

О'Мэрфи

Сын мой, меня послал господь,
прося, чтоб не был ты упрямым.
Так англичан не побороть.

Сэндс

И это все? Свидетель драмы,
что ж предлагает мне господь?

О'Мэрфи

Не знаю, мальчик мой... Однако
жестокий грех — предтеча мрака.
Очнись у гробовой черты —
младенца оставляешь ты!
Подумай! Голова седая
к тебе склонилась...
Ты умрешь.
Благословлял я вас, венчая...

Сэндс

Да... Да... Святой отец. И все ж,
мой шаг — не фанатизма вывих,
свечу последнюю задув,
безвыходность искала выход,
в самоубийство дверь толкнув!

О'Мэрфи

Сей довод слабый пред Всевышним.
Себя убить — зачем? — прости.

Сэндс

Себя убить во имя ближних,
во имя родины уйти.

О'Мэрфи

Но все равно не понимаю,
как этим можно ей помочь.

Сэндс

А как под танки, умирая,
ложились люди день и ночь?

О'Мэрфи

Там жизнь бегущего в атаку —
равна пылающему танку.

Сэндс

Да... Нет гранаты у меня!
И пострашней у них броня.
Бездействие душе противно,
а жертвенность нужна в бою,
чтоб даже в смерти быть активным —
протестом сделав смерть свою!
Пусть смерть моя лишь искрой будет
в бикфордовой цепи смертей.
Часы заведены... Скорей!
Всех взрыв карающий разбудит!

Появляются бродяги.

Второй бродяга

Продолжается рассказ,
миной тикающий в нас...

Вы видели когда-нибудь толпу лордов? —
тридцать, сорок танцующих кучей?
Так вот, господа, у мэра Лондона
вам предоставляется случай!

Первый бродяга

При свечах в отеле «Хилтон»
под охраною атлантов
на веранде малахитовой —
сегодня оргия бриллиантов!
Скачки полулошадей.
Полуледи, полуденди.
Голубой коктейль кровей
перемешан с «шерри-бренди».
— Сэр, скажите этой даме,
с отключенными мозгами,
кто не работает ногами —
тот не с нами.—
Обворожительные обжоры —
собственных животов дирижеры!
Пляшут «звезды» всей Атлантики
на английских каблуках...
...Сеттеры ирландские —
заложниками на коврах.
Что же ты зеваешь, псина?
Может, хватит спину гнуть?
Средь духов и никотина
искусай кого-нибудь!
Но гвоздь программы — лорд Билл.
(Танец семиэтажного подбородка!)
Он ирландцам объявил
антиголодовку!

Все работают челюстями —
как вентиляторы лопастями...

Заразились «роком» ножки,
влезли двадцать пар на стол.
Как одна сороконожка —
дергается рок-н-ролл!..

Второй бродяга

Трали-вали! Трагифарс!
Миной тикает рассказ...

...Шестьдесят четвертый день
дышит человеко-тень.
Он ослеп уже. Оглох.
Шестьдесят пять...
Шестьдесят шесть...
Последний вздох.
Амен.
Мертв голодный бог.

Кладбище под Лондон-Дери. Телекамеры Би-Би-Си ведут репортаж с похорон Роберта Сэндса. Журналист подходит к матери одного из узников блока Эйч.

Журналист

Миссис Мария, ваш сын на очереди.
Что вы скажете о новой проповеди отца Флэнагана,
который считает, что бог самоубийство
не поощряет?

Мать

Парламент пытки благословляет,
убийство делая нормой своей.
Выхода нет у наших детей.

Журналист

Миссис Мария, побойтесь бога!

Мать

У наших детей святая дорога.

Ж у р н а л и с т

Миссис Мария, последний вопрос:
когда это все-таки началось?

М а т ь

Много столетий назад. И народ
эту борьбу до конца доведет.

В этот момент из толпы вырастают ч е т в е р о в ч е р н ы х м а с к а х с автоматами в руках. Прощальный салют над могилой. Агенты прочесывают толпу. Четверо исчезли, как призраки.

П е р в ы й б р о д я г а

Трали-вали! Трагифарс!
Не окончился рассказ...

Каждый день в четыре сорок
рыщет телескопом город.
Посмотрите, господа! —
там голодная звезда!..

Как гигантский аэробус,
падающий в океан,
Вестминстер, парламент,— ГРОБУС
депутатских кресел клан.
Караул! Конец! Обман!..
На лету всевышний обыск
каждого...
Туман... Туман...
Лишь одно пустое кресло
депутата Боби Сэндса.
Ищут все его... А он —
катапультою спасен!

Айм сори, господа.
Боби Сэндс — Суперзвезда!

Бродяга включает транзистор.

Радио

Разыскивается звезда-преступник. Ирландского происхождения. Приметы: на левой щеке шрам и над головой нимб крамольного цвета. Все дороги перекрыты. Воздушная полиция патрулирует на предельных высотах!

Голос Сэндса

Мой нимб кровавого цвета
далек от живых людей.
Я просто свеча рассвета
над горькой Ирландией.

Скажите мистеру Пеплу,
что я не какой-то миф,—
пускай моя плоть ослепла,
но дух всевидящий жив!

Сиянье мое во имя
бездомного бытия.
К земле
лучами худыми
тянется жизнь моя.

Ведь даже в небесном дыме
за свет не бороться — грех.

Сиянье мое во имя
замерзших во мраке всех.

Сиянье мое во пламя,
которому нарастать!
Другие звезды за нами...
Я свет их хочу принять.

И только до боли грустно —
неужто так будет всегда? —
Звезда — это бывший узник...
Звезда...
Звезда...
Звезда...

СОДЕРЖАНИЕ

1

ЗАТОПЛЕННАЯ ЛОДКА

2

ПОРТРЕТ ВЕТРА

ПРОЩАНИЕ С РИФМОЙ

3

СОЛО ДЛЯ ГИТАРЫ

СТИХИ НА ОСЕННИХ ЛИСТЬЯХ

Николай Николаевич Зиновьев

БРОДЯЧЕЕ ДЕРЕВО

М., «Советский писатель», 1984, 120 стр.
План выпуска 1984 г. № 187

Редактор А. В. Кафанов
Худож. редактор А. В. Еремин
Техн. редактор Н. В. Сидорова
Корректор Т. Н. Гуляева

ИБ № 3988

Сдано в набор 08.04.83. Подписано к печати 21.10.83. А04202. Формат 70Х108 1/32. Бумага тип. № 1. Журн. рубл. гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 5,25. Уч.-изд. л. 4,34. Тираж 20 000 экз. Заказ № 261.

Цена 50 коп.

Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109


50к.

